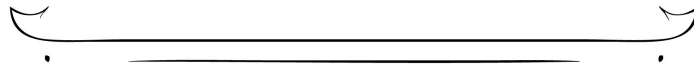


А. Л. Осповат
Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики

О Р. Г. Назирове.
Интервью



Александр Львович Осповат — профессор НИУ ВШЭ, руководитель направления «Филология», в 1991—2011 профессор русской литературы по Департаменту славянских языков и литератур Калифорнийского университета, Лос Анджелес (University of California, Los Angeles).

— Я познакомился с Ромэном Гафановичем Назировым, очевидно, во второй половине семидесятых или несколько позже. Дело было в тогдашнем Ленинграде. Нас познакомил, сколько помню, ныне покойный Владимир Артёмович Туниманов¹, наш общий приятель и коллега. И знакомство наше базировалось на Достоевском и на общем интересе к этой теме. Кроме того, мы оба участвовали как авторы в сборниках «Достоевский. Материалы и исследования», которые Пушкинский Дом начал тогда издавать как спутники к собранию сочинений, и где была замечательная статья Ромэна во втором, сколько я помню, выпуске².

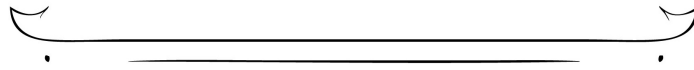
Он, конечно, судя по тем впечатлениям, которые я сейчас могу реконструировать (виделись мы очень редко, однажды он у меня ночевал в Москве), был человек с двумя доминирующими особенностями. Он, конечно, стремился к некоей универсальности, он хотел если не построить, то во всяком случае осмыслить некую общую и очень существенную литературно-философскую парадигму, как стали говорить уже позже. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мне показалось тогда и как кажется до сих пор, ощущал ограниченность своих возможностей. Отчасти (не знаю до какой части) это было связано с тем, что Уфа — это провинция, а в тогдашние невесёлые времена гуманитарий поддерживался тем, что называлось тогда кругом, а теперь референтной группой, внутри которой циркулировали книги, идеи и хохмы, не подлежащие публичному обсуждению. Я не знаю, какая у него была референтная группа и была ли она, но полагаю, что он осознавал её недостаточность. Возможно, он мыслил себя как одиночка и отсюда, может быть, никогда в наших беседах не прокламируемая им, но ощущаемая амбициозность; излишняя, на мой вкус, склонность к теоретизации и к построению тех общих моделей, при которой многие отдельные проблемы, интересовавшие меня и моих коллег, не были для него столь существенны, хотя, повторяю, его статья о цитатах у Достоевского — замечательный образец именно такого подхода.

— **И другие статьи, надо сказать, тоже.**

— И другие статьи тоже. Но эта статья (почему я к ней возвращаюсь) послужила первым толчком к началу наших отношений и к взаимному интересу

¹ Главный научный сотрудник ИРЛИ; годы жизни: 1937—2006.

² Назиров Р. Г. Реминисценция и парафраза в «Преступлении и наказании» // Достоевский. Материалы и исследования. Т. 2. Л., 1976. С. 88—95.



— Я хотел сказать, что и в других статьях не ощущается склонности к теоретизированию.

— В тех статьях, которые я тогда читал, нет. Но сейчас, благодаря вашему подарку³ прочитав те статьи, которые я тогда не читал, я увидел, конечно, замах на теоретическое построение.

— Это чувствовалось в личном общении или это ваша ретроспектива уже после прочтения этих текстов?

— Знаете, очень трудно мне сейчас разделить впечатления тридцатипятилетней давности и теперешние. Но если говорить про тогдашние впечатления, всё-таки ощущалось желание не мелочёвкой заниматься, а чем-то важным. И кроме того был ещё такой, я бы сказал, трагический обертон: он, видимо, понимал, что провидение сулило ему быть недовождённым, и это тоже входило в какую-то героическую парадигму, не знаю... Вот такое ощущение: я всё равно буду заниматься самым важным, хотя я не прочёл того и сего, а что-то знаю только по пересказам. Какие-то тексты универсального значения тогда уже кто-то мог прочесть в оригинале, а он это знал из вторых-третьих рук и понимал вторичность той базы, на которой он, тем не менее, хотел достигнуть обобщений. Наше соприкосновение научных интересов — это петербургская легенда. Вслед за его статьёй⁴ я написал свою статью на эту тему⁵, где и сослался на его совершенно верное суждение по какому-то конкретному вопросу. Но сам разворот темы был у меня гораздо более узкий, и я рассматривал те примеры, которые поддаются процедуре верификации. Когда он говорит о петербургском мифе, он не дефинирует само это понятие. Когда Владимир Николаевич Топоров начал исследовать петербургский миф, петербургский текст, друг за другом шедшие, он выдвигает религиозное определение и обоснование. Почему не имел продолжение его подход к петербургскому тексту? Потому что для Владимира Николаевича это сотериология, это религиозная идея. А если ее исключить, то петербургским текстом можно назвать что угодно. Но для него Назирова неопределяемость понятия не означала невозможность его исследования: он метафоризировал, легко пренебрегая какими-то источниковедческими штудиями, уже к тому времени производившимися, — для того, чтобы нечто высказать. Я внятно излагаю?

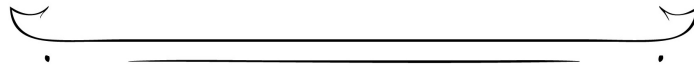
— Да, вполне. Конечно. А как вы предполагаете, Владимир Николаевич мог знать про работу Назирова?

— Думаю, да. Как известно, Владимир Николаевич вообще многое знал. Мы никогда с ним работ Назирова не обсуждали, но, кажется, как-то касались... Ссылок

³ Назиров Р. Г. Становление мифов и их историческая жизнь. Уфа, 2014.

⁴ Назиров Р. Г. Петербургская легенда и литературная традиция // Ученые записки Башкирского университета. Вып. 80. Традиции и новаторство. Уфа, 1975. С. 122—135.

⁵ Основат А. Л. Вокруг «Медного всадника» // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1984. Т. 43. № 3. С. 238—247.



как будто нет. Но дело здесь ещё и в том, что петербургский текст был для Топорова не отдельной самостоятельной темой («сейчас я займусь петербургским текстом!»), а фрагментом некоего собственного обширного эпоса. Но вот что любопытно: в тех книгах Ромэна, которые вы мне подарили, также много концептуальных набросков — французская литература, английская литература, петербургский миф... Он хотел выстроить какую-то широкую картину понимания.

— **Судя по всему, это некоторая финальная, итоговая его работа.**

— Да, и судя по каким-то деталям, понятно, что этот интерес ему сопутствовал с непоздних лет.

— **Мы полагаем, что самое позднее, когда он его захватил, это начало восьмидесятых годов. 1980-й год — первая публикация работы о реконструкции фольклорных сюжетов. Потом в течение десяти лет эти работы появляются каждый год. По всей видимости, книга, о которой мы говорим, была написана примерно между 1992-м и 1996-м годом.**

— Всё-таки поздняя, да?

— **Да. Всё-таки писалась она как текст в 1990-е.**

— Хотя показательно, что (я внимательно прочитал и раздел его рецензий⁶) то, с чего он начинал, ну уж чистая газетная подёнщина, но и там прорывается это стремление увидеть за частным целое. Трагическая судьба, потому что эпоха, в которую ему суждено было жить, совершенно не располагала к такого рода занятиям, особенно в Уфе. Оторванность от больших библиотек, недоступность научной литературы, вышедшей на Западе, минимум контактов с иностранными коллегами, — ситуация была иная чем в Москве и в Питере. И когда он у меня ночевал, действительно провёл время так: что-то записывал, что-то читал.

— **То есть он не спал фактически?**

— Может быть, и спал, я за ним не следил. Но я обратил внимание: на ночь он просил у меня какие-то книжки, и все они остались с закладками.

— **Он был маргиналом? Из-за своего провинциального положения.**

— Он старше меня, и мне трудно сейчас об этом судить. В нашей тогдашней компании многие тоже были маргиналами (разве только Александр Васильевич Лавров с молодых ногтей служил в Пушкинском Доме и довольно рано защитил кандидатскую). Другое дело, что у нашего поколения было Тарту, центрировавшее интересы и стилистику. По-моему, за ужином я упомянул, что мы собираемся ехать в Тарту, и мне показалось, что у него к Лотману сложное отношение, что для него это был какой-то «структурализм». Я ему говорю: ну что значит структурализм? Вот вы слышали лекции Юрия Михайловича? например, о Крылове или о Грибоедове? Какой там структурализм? Но для него отношение к Тарту носило какой-то идеологический характер.

⁶ Назиров Р. Г. Избранные газетные рецензии. Уфа, 2011.

— **В смысле, с отрицательным знаком?**

— Ну, вряд ли человек его ума и широты мог сосредоточиться на отрицательном или положительном. Это всё вместе было. Это было...

— **...сложное отношение?**

— Чрезвычайно сложное. И обидчивое. Не по отношению, я уверен, лично к Лотману. **Эмоциональное, в общем, отношение?**

— Да.

— **Мы обнаружили в архиве конспекты живых лекций Лотмана.**

— Каких лет?

— **Я боюсь сейчас сказать точно, я не помню год. Вполне возможно, что это произошло после того, о чём вы рассказываете.**

— Может быть. А может быть, он не хотел рассказывать. И когда я ему сказал: «Ну, Ромэн, послушали бы лекции Лотмана», может быть, он уже их слушал. Он не был человеком открытым, особенно в сношениях с людьми совершенно не близкими, как я — ну, случайно так получилось, что ему негде было в Москве ночевать и он переночевал у меня. Это не значит, что мы были друзьями или добрыми знакомыми. Это значит, возникла ситуация, которая позволила мне сказать: «Ромэн, если вам негде ночевать, то давайте, приезжайте к нам. Но мне показалось, что он вообще тяжело воспринимал людей.

— **Да, это правда.**

— Учеников, людей... Такое ощущение, судя, с одной стороны, по строго контролируемому потоку речи, когда мы обсуждали каких-то общих знакомых, а, с другой стороны, по напряжению. Это же было время шутейно-глумливое, особенно в дружеском кругу за столом. Сколько я помню, он не так охотно шутил и не приветствовал чрезмерную шутливость. Он был серьёзным. Серьёзен, обидчив и одинок, наверное.

— **А вы что-то знаете про его взаимоотношения с Пушкинским Домом?**

— Я знаю, что наш общий приятель Володя Туниманов в какой-то момент стал волею судеб и.о. директора Пушкинского Дома. Сейчас уже действительно не помню, может, это было позже. Во всяком случае, Володя, тогда уже доктор наук, был очень достойный человек, и он совершенно спокойно и свободно общался с разными людьми — и с молодыми маргиналами вроде меня, и с такими провинциальными выдвинутыми, как Ромэн. И я думаю, Ромэн ценил в Володе этот непосредственный интерес к тому, что он делает, не сопровождаемый обчётом того, как ты стоишь, и какую позицию занимаешь. Впрочем, достоверно я ничего не знаю об их отношениях. Не думаю, что они были очень близки. Назиров производил впечатление человека, который чрезвычайно взыскателен к перспективе продолжения контакта. Так мне казалось. Но, повторяю, две-три встречи, которые могут быть

сочтены случайными, вряд ли дают мне основание для каких-либо выводов. Но вот что касается этой недоволенности, она чувствовалась.

— **Вы предполагаете, что он на какую-то поддержку в Пушкинском Доме рассчитывал?**

— Вряд ли. Кажется, он понимал, что эта институция ему помогать не будет. Володя, я думаю, всё, что мог, то сделал: какие-нибудь, там, отзывы писал. Я уж не знаю, поскольку был совершенно вне академической среды. Но я уверен, что если бы ему был нужен отзыв на диссертацию, на книгу, другая какая-нибудь бумага, то Володя не отказывал. Володя легко отзывался на мои просьбы — приезжал в Москву оппонировать на защитах Андрея Немзера, Саши Архангельского, Оли Майоровой. Не знаю, нашли ли вы в архиве Ромэна какие-то Володины отзывы, но... может быть, они были не лично ему адресованы, а, там, на кафедру, в издательство, куда-то еще.

— **Пока следов этого мы не смогли обнаружить, но мы обнаружили переписку с Лидией Лотман, по крайней мере, одно письмо от неё. Что из важного в смысле сношений с Пушкинским Домом мы нашли: обнаружена обширная сравнительно за много лет и очень личная переписка с Фридендером, которая свидетельствует о том, что у них был период крайне тёплых отношений.**

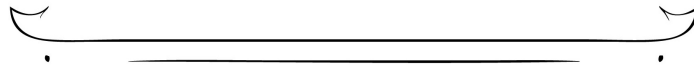
— Да, это меня не удивляет. Конечно, Володя по возрасту и общему стилю поведения, умонастроению был нам ближе, но Георгий Михайлович мог привязываться к разным людям. Например, меня он позвал готовить по рукописи и комментировать следственное дело Достоевского для академического собрания, хотя у меня вообще не было никакого статуса.

— **Вы были одним из тех, к кому он привязался?**

— Не то, что это была специальная привязанность. Чем-то я ему приглянулся, да и, кроме того, я жил Москве, не надо было на долгий срок командировать людей в Военно-исторический архив. Понятно, что как только он приставил к моему комментарию свою идеологическую часть, отношения наши закончились, но к Ромэну, я думаю, он мог гораздо более тёплое отношение питать и не требовать в ответ какого-то восхищения его трудами. Он же такой русский немец, и была в нём в хорошем смысле сентиментальность. Могла быть и по отношению к Ромэну. Скорее всего он и привлек Ромэна к участию в сборниках «Достоевский. Материалы и исследования», поскольку был тогда главный достоевсковед. Вполне возможно.

— **А ночевал у вас Назиров в...**

— Знаете, я решительно не могу вспомнить. Как я и сказал вам, я найду, конечно, этот сборник, который он мне подарил, но что-то мне кажется, что посылка пришла после ночёвки. То есть дата на экземпляре не связана с датой его московского визита.



— **Но это вторая половина семидесятых?**

— Или начало восьмидесятых. Он какого года?

— **Рождения? Тридцать четвёртый.**

— Тридцать четвёртого... Ну да, между нами всё-таки четырнадцать лет. Тогда это не то что не замечалось, это в некотором неофициальном кругу не было сколько-нибудь значимым. Но он мне, конечно, казался старше и другим. Другим — прежде всего потому что всё-таки он хлебнул советской власти гораздо больше, чем мы. И поэтому мы с ним, по молчаливому уговору, не заводили разговор на какие-то темы политического свойства.

— **То есть говорили о литературе?**

— О литературе, о том, о сём. О том, какая водка. Сложилось впечатление, что он не был охотник выпить, в отличие от меня, поэтому не поддерживал какие-то мои наблюдения. Или так держался.

— **Видимо, так держался.**

— Может быть, может быть.

— **А каких-то тем, кроме водки, вы не припомните?**

— Ну вот ещё Бахтин. Мы же представляли два разных хедера.

— **И вы не сходились по вопросу оценки Бахтина?**

— Нет. Решительно. Вот это я помню. Я сказал, что, не касаясь масштаба философского дарования Михаила Михайловича, не очень понимаю, какое это имеет отношение к литературоведческому делу.

— **А он считал, что имеет?**

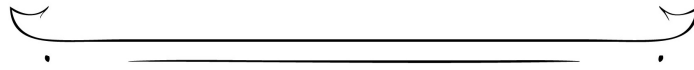
— Он считал: «Неужели вы так думаете? Или вы смеётесь?» — «Ну, я, может, и смеюсь, но и так думаю». Он говорит: «Так думаете или смеётесь?» Он разделял эти вещи. Вот тоже хороший пункт. Он *серьёзный* был человек.

— **Это правда. Это и по каким-то его заметкам видно в архиве. А вот самих обстоятельств ночёвки уже не вспомнить? Он позвонил? Написал?**

— Мы познакомились в Питере. Я говорю: «В Москве бываете?» «Нечасто», сказал он, — «но вот должен быть». И тут выяснилось, что какого-то постоянного пристанища у него нет. Я говорю: «Ромэн, приезжайте к нам, ночуйте». Но это тогда было вполне обыкновенно. Я мог предложить это и человеку менее знакомому. Как и он, я полагаю. Или не мог, я не знаю.

— **Но он же не приехал без предупреждения?**

— Нет. Он позвонил, и я сказал: да, конечно. Вот так. Это не воспринималось как событие ни им, ни мной. И вот ещё о Бахтине. В отношении Назирова к нему заметна была ревностность, истовость, серьёзность... Вот открыл нам Бахтин какие-то бездны, и не то, что это надо цитировать или вставлять в статьи, но надо как-то себя понять в этом свете, пережить это как факт личной биографии. Он Назиров внутри был, наверное, очень эмоциональный человек с живой реакцией на



философские идеи, может быть, ещё более живой, чем на окружающие обстоятельства. Ну, понятно, для них, для людей этого поколения Бахтин открыл новое слово. Кроме того, его слава и судьба освобождала от необходимости держаться за то, во что уже никто не верил.

Беседовал Б. В. Орехов

